

Пол Дельтер

ГЛИНЯНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Пол Дельтер
Глиняный Человек

https://litres.ru/75006698
SelfPub; 2026

Аннотация

Глина становится фигурой лишь тогда, когда её обжигают, и человеку, как утверждает старик из неаполитанской лавки, дано пройти нечто подобное: слово «обожжение» он произносит с оговоркой, и только в конце становится ясно, почему оговорка так важна.

Герой книги проходит долгий путь, в котором боль соседствует с надеждой, а ошибки с усилием их понять. Первая Любовь, обернувшаяся и счастьем, и тяжёлой утратой; дружба, на поверку оказавшаяся взаиморасчётом, и дружба редкая, выдержавшая и расстояние, и молчание; взросление, приходящее не с годами, а с каждым решением, за которое приходится отвечать. Ибо каждый, кто ищет себя, неизбежно спрашивает: можно ли остаться собой, не причиняя боли другим, и не стать падшим ангелом, боящимся и жалеющим, а не проживающим?

Ответ приходит тихо и обнаруживается там, где лежал всё это время, на самой поверхности: покой, который не зависит от ожиданий, и счастье, не требующее ни побед, ни признания, ни доказательств.

Пол Дельтер. «Глиняный человек».

Содержание

Нико 14
Знак 26
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Пол Дельтер
Глиняный Человек

❦

Глиняный человек

И сказал Бог человеку: «Слепи своё счастье сам»

Пол Дельтер

«Человек, лишённый Любви, превращается в сатану. Только кого-то лишают другие, а кто-то лишает себя сам».

❦

Летний вечер в Неаполе выдался прохладным. Давно стемнело, и улица, остывая после дневного зноя, пахла камнем, морем и ужином, доносившимся из открытых окон.

Юноша, совсем ещё мальчишка, возвращался домой после дня, похожего на вчерашний, позавчерашний и почти каждый день за последний год. Он был из тех, кого не замечают: худой, чуть сутулый, в куртке с чужого плеча, из рукавов которой нелепо торчали запястья. Он давно привык ходить так, словно его и вовсе нет.

Не дойдя до своего подъезда всего одну дверь, он остановился. Из-за стекла, сквозь тёплый свет, лилась музыка — тонкая, звенящая, барочная, будто играла музыкальная шкатулка.

Он знал это место. Само здание было выдержано в духе классицизма: строгий фасад, колонны, ровные окна. Но

внутри всё — от картин и плакатов до бесчисленных статуэток на полках — напоминало о викторианской эпохе. Дом и музыка словно не подходили друг другу, и от этого несходства почему-то становилось легче.

Скука этого дня, как и всех предыдущих, тянула его вниз, а музыка звала в другую сторону. В нём шевельнулось желание перемен — чего-то нового, ещё неведомого, — и вместе с ним лёгкий страх.

Он засмотрелся на человека за прилавком. Тот неторопливо лепил очередную фарфоровую фигурку. Юноша не успел передумать и вошёл. Он не знал, что сказать, поэтому просто молчал.

Хозяин лавки заговорил первым, не поднимая головы от работы:

— Тебе, наверное, казалось, что меня видишь только ты: глаза у меня опущены, руки заняты делом. Но я заметил тебя с самого начала.

Он чуть нахмурился, помолчал и добавил:

— Тебе наверняка интересно, почему я такой странный для нынешних дней. Мы с тобой оба почти незаметны и, кажется, никому не нужны. Я, старик, леплю фигурки, которые приносят мне совсем немного денег, зато их так Любят те, кто всё-таки решается их покупать.

Люди ведь на самом деле Любят фигурки. Просто не сразу замечают, в чём их суть: мешают собственная угрюмость, тревога за кусок хлеба, привычка затягивать пояс потуже. А

когда было иначе? Старик размял в пальцах лежавший на прилавке кусок глины и, не глядя на юношу, перекатил его в ладонях.

— И всё же именно сегодня, в самые сытые времена, люди сильнее всего боятся голода. Они зажаты крепче прежних рабов: у них нет надёжного крова, лекарства им не по карману, еда дорожает. Страшит их даже не сам голод, а всё, что напоминает о возможности остаться без самого необходимого. Чем больше вокруг таких знаков, тем реальнее кажется угроза. Вот оно — рабство, в которое человека принуждают вступить добровольно.

Старик на миг поднял глаза и усмехнулся.

— Странно звучат мои слова сегодня, но знай: я не коммунист. Вернее, это коммунисты — не я. Я не подменяю живую правду красивой, но мёртвой картинкой.

Он помолчал, поворачивая фигурку в пальцах и разглядывая её со всех сторон.

— Мои фигурки живее и тех людей, и того общества, которое они собираются построить. Но и мы живём в другой крайности, не замечая середины — той самой золотой середины, о которой знали Аристотель и Конфуций, о которой помнили общества их времени, а мы забыли. Мы радикалы: юные, неразумные, мечемся из одной крайности в другую, потому что перестали помнить самих себя.

Он отложил фигурку и вытер пальцы о фартук.

— А ведь и они, я имею в виду коммунистов, во многом

говорили правильные вещи. Только за их коллективизмом скрывался предельный индивидуализм — куда более жестокий и злой, чем тот, который мы видим сегодня.

Старик коротко прижал ладонь к глине, затем убрал её и посмотрел на оставшийся отпечаток.

— Их слова пусты: они не видят Того, кто их обжёг, и потому ничем не отличаются от камней.

— Знаешь ли ты, что Маркс в юности был верующим? — спросил он, не ожидая ответа, и снова размял глину. — Отец в письмах тревожился, что сын поддался гордыне и решил, будто умнее всех. А Сталин, далеко в России — точнее, в российской Грузии, — учился в семинарии и посвящал стихи Творцу: значит, и он когда-то видел Его следы. Но ум и могущество, власть над толпами и их сознанием, собственная интеллектуальная или физическая сила — всё это погрузило их в гордыню. Обжиг для них оказался отрезан, и потому они, как машины и станки, остались пустыми.

Старик покачал головой.

— Часы без часовщика не бывают. Нужно лишь помнить: часовщик находится вне этого мира, как художник — вне картины. Художник не может стать частью собственного полотна. Он может прикасаться к нему, может присутствовать в нём своими руками, но там, где заканчиваются его руки, заканчивается картина и начинается он сам. Краска на его пальцах — уже граница между ними, но сама картина этой границей не становится. Мы, по сути, краски, приставшие к

пальцам Того, кто к нам прикасается.

Шкатулка на полке заиграла мелодию по новому кругу. Старик замолчал, позволяя ей прозвучать.

— Каждый человек помнит, каким протестующим он был в юности. Человечество живёт дольше одного человека, но проходит через те же циклы: оно уже не дитя, но ещё и не взрослое — оно юно. Люди не хотят молча подчиняться, не соглашаются с прежним порядком, переоценивают свои возможности и ум, считают себя новыми и лучшими, чем те, кто жил до них.

Он раскатал глину в тонкий жгут и снова смял её в комок.

— И только повзрослев, понимают, что люди всегда были такими же: в древнеегипетском Мемфисе, античном Риме, средневековой Праге, викторианском Лондоне и сегодняшнем Неаполе. Но личностно каждый способен взрослеть. А коммунисты — это люди, когда-то добрые, но застрявшие в детской уверенности, в неразумности своих стремлений, в непонимании и переоценке собственных сил.

Он снова взял фигурку.

— А те, кто Любит фигурки, видят их суть. Это люди, в которых живёт надежда; те, кто Любит человека — не только себя и не только кого-то одного, кем одержим, а всё человечество, человека как такового. Для них эта непритязательная красота становится источником тепла и уюта.

Он провёл ногтем по шву на плече фигурки, сглаживая его.

— Несмотря на внешнюю мёртвость и даже жутковатый вид, они замечают глубину и понимают: фигурки порой живее их самих.

Старик повернул в пальцах крошечную руку, примеряя её к плечу.

— Фигурки идеализируют человеческую душу: изящные формы, безупречные линии, улыбки, полнота сил. Белые, блестящие, они могут принять любой облик. Именно этого людям сегодня и не хватает — деятельной энергии, лёгкости, света. К фигурам не бывает претензий. Они не скандалят, не спорят, не меняются на глазах. Они — никакие.

Он умолк и надавил пальцем на крошечную ладонь, проверяя, ровно ли она прилегает.

— Но когда их обжигают, они оживают, и, видя эту живость, рождённую из ничего, человек тянется к ним. Все мы такие фигурки, и только нам решать, останемся ли пустыми или наполнимся смыслом. Полными мы становимся в руках Того, кто нас творит. Если не знать Автора, мы ничем не отличаемся от машины или лампочки, которая бездумно работает по заданному импульсу. Так и фигурка неотличима от камня, пока не знаешь о дыхании, о душе, которую вложил в неё творец. Так мы обретаем полноту — или остаёмся пустыми. Дальновидностью отличается обожженное рождение от опосредованного существования.

Слово «обожженное» старик часто произносил с оговоркой: ставил ударение на второй слог, но тут же поправлялся

и переносил его на третий. Он помолчал, потом продолжил тише, словно говорил уже не юноше, а самому времени:

— Ни одна страна и ни один правитель не бывают настолько дальновидны, чтобы счастье, к которому они стремятся, не оказалось привязано к сегодняшнему дню. Оно годится только для настоящего мгновения. Это не благо и нечто невечное. Запад и Восток разделяет не так уж много: оба погружены в один и тот же инфантилизм. Каждый занят собой и смотрит только на себя — словно скульптура, не прошедшая обжиг, холодный фарфор или сырая глина.

Старик положил фигурку на прилавок и снова взялся за комок и размял его в ладони.

— Каждый пытается лепить из глины, которой ему никто не давал и которую не у кого попросить. У них всё искусственно, всё рассчитано, всё подчинено математике, а душе не остаётся места для полёта. Экономика движется благодаря расчёту, мысль — тоже. Но подлинное всегда больше расчёта. Оно проникает в бессознательное так глубоко, что никакому плану его не подчинить. Ни искусство, ни экономика не рождаются из одной лишь обдуманной махинации. Это полёт. Нечто приходит извне, в сокровищницу сознания, оседает в бессознательном, а потом, если мы заранее расставили сети, течение приносит его к нам — и тогда мы можем придать ему форму. Нужно брать то, что дают, но лепить самому. И брать не всё подряд, а то, что действительно тебе предназначено.

Юноша подался вперёд. Ему хотелось что-то добавить — возразить или согласиться, он и сам не понимал. Но старик, не слушая и не глядя на него, уже повернулся к полкам, словно вспомнил о каком-то деле.

— Знаешь легенду о Боге, который слепил человека из глины? — спросил он через плечо.

И, не дожидаясь ответа, продолжил:

— Фигурке недостаёт не только дальновидности. Ей не хватает счастья. Не сиюминутного, каким мы привыкли его считать, а постоянного — или хотя бы такого, к которому можно возвращаться. Ни один творец в этом мире не способен создать счастье за свою фигурку. Когда глиняный ребёнок попросил Бога слепить ему счастье, Бог дал ему глину и сказал: «Слепи своё счастье сам».

Музыкальная шкатулка на мгновение смолкла, а затем снова завела свою мелодию.

— В этом и заключается свобода человека. Это огромная власть. Но власть — не сила и не возможность подчинить всё вокруг себе. Власть — это ответственность. Это равенство с другими, соединённое с высокой Любовью; готовность представлять тот или иной коллектив не ради безопасности и не для того, чтобы спрятать собственные комплексы, а из неимоверной Любви. Такой человек способен принять удар на себя, стать щитом и опорой для остальных, во многом забыв о себе. Вот что такое власть. И счастье должно быть соразмерно этой подлинной власти, пока она тебе дана.

Наконец старик обернулся и посмотрел на юношу, который всё ещё стоял у порога, забыв прикрыть за собой дверь.

— Ну что ж, — мягко произнёс он. — Всем иногда недостаёт чего-то своего. Тебе — интереса и живости: ты в самом расцвете, ещё многого не видел и многого не успел испугаться. Мне — обычного человеческого общения. Хочется, чтобы сюда приходили не за фигуркой, как за товаром, не за её атрибутами, а поговорить со мной — с тем, кто её слепил.

Он помолчал.

— Отдохни в этот субботний день. Подумай, если захочешь, обо всём, что я сказал. Помни об Авторе. Оставайся живым, даже если твой фарфор начнёт трескаться.

Старик взял с прилавка тот самый небольшой округлый комок чуть влажной глины, который всё это время мял в руках, посмотрел юноше в глаза и улыбнулся.

— Слепи своё счастье сам.

Он открыл перед юношей дверь, спокойно погасил свет и вышел следом, и сразу закрыл лавку на замок. Затем, не оглядываясь, зашагал в противоположную сторону по длинной улице. Вскоре его шаги растворились в неаполитанской ночи.

Парень отправился спать, но заснул далеко не сразу. Разговор взбудоражил его, и тема не отпускала. Иногда мысли о ней затихали, уходили куда-то на дно, но потом он снова и снова к ним возвращался.

Через месяц лавки, где продавали глину, уже не было. Од-

ни говорили, что старик переехал. Новые владельцы помещения уверяли, что не знают, куда он подался. Но, когда старик продавал им помещение под ресторан, на нём был совершенно новый костюм, сшитый на заказ, а уезжал он на безупречно чистом современном автомобиле. Причина отъезда явно заключалась не в деньгах: в них, как ни удивительно, он не нуждался. Судя по рассказам, он никогда не оставался в убытке. Зарабатывал немного, но ему вполне хватало на жизнь, а при его скромных привычках удавалось ещё и откладывать на будущее.

Как бы то ни было, с каждым месяцем интерес юноши угасал. Комок глины лежал на дальней полке, подсыхал и покрывался трещинами. Но пройдут годы: юноша переедет в Рим, познакомится там с другими выходцами с юга, и тогда эта глина войдёт в него занозой — уже навсегда.

В доме, где он жил, на первом этаже обитала мышка. Родители очень хотели от неё избавиться, но юноше было жаль зверька, и он не позволял его тронуть. Со временем мышка стала почти членом семьи. Никто уже не удивлялся её ночному шороху и крошкам у плинтуса.

Однажды неутомимая и любопытная мышка забралась на тумбу, перебралась с неё на кресло, пробежала по шероховатой стене и добралась до самой полки. Комок глины качнулся и упал на пол. Юноша поднял его, молча стряхнул пыль и положил обратно, словно ничего не произошло. Он и сам не мог объяснить, почему до сих пор его не выбросил.

Нико

Прошли годы. Юноша повзрослел, переехал в Рим и среди таких же приезжих с юга обзавёлся новыми товарищами. Глина, конечно, осталась в Неаполе, самая дальняя полка — если только близкие не выбросили комок глины — так и осталась его последним пристанищем.

Однажды Нико решил прогуляться по Риму с друзьями. Он вышел на улицу, где его уже ждали Жакоб и Игнасио.

— Нико, наконец-то! — окликнул его Жакоб.

Так его звали, и друзья произносили это имя тепло и громко, с большой Любовью. Рядом стоял Игнасио. Маттия должен был подойти позже, уже в кафе.

Игнасио тоже был южанином, но с другого Юга: не с Апеннинского полуострова и даже не с юга Италии, а из страны южнее неё — из Сомали, из Могадишо. Итальянцем он не был. Итальянцем был только его дед — католик, как и многие итальянцы, — который когда-то уехал, оставив в Сомали женщину и ребёнка от неё. Отец Игнасио был уже наполовину итальянцем, а сам Игнасио — лишь на четверть: его мать, как и бабушка, была сомалийкой.

Дед жил в итальянской общине. С ним общались прихожане, участвовавшие в церковной жизни; некоторые даже дружили с ним. Они знали и о беременности сомалийки, и о том, что дед оставил её. Но церковь не могла оставить ребён-

ка без помощи. Так отца Игнасио вырастила католическая община, и во многом он вырос в итальянской культуре. Он сохранил эту связь, назвал сына Игнасио, а позже вместе с ним и женой переехал в Италию. Сначала семья на несколько месяцев остановилась в Неаполе, но вскоре, благодаря родственникам и знакомым, перебралась на окраину Рима.

Друзья почти никогда не называли Игнасио по имени — разве что изредка. С ним и без того прочно связывали игру, а две последние буквы его имени, «-ио», совпадали с окончанием слова «кальчо» — «футбол». Так он и стал Кальчо. Остальные трое, выходцы с юга Италии, произносили прозвище на привычный им лад: Кауче.

Впервые его так назвали одной зимой. Стояла оттепель, но температура медленно опускалась к нулю. Друзья гуляли по холодным улицам, хотели размяться, вдохнуть свежего воздуха и в конце концов решили сыграть в футбол. Игнасио стоял слева от пустых ворот. Ему нужно было принять пас и отправить мяч в сетку, но, отступая на шаг, он наступил на валявшуюся на земле стеклянную бутылку, поскользнулся и вместо гола нелепо растянулся на земле. Так к его имени и прилипло прозвище «Кальчо» — и по случаю, и по созвучию.

Дальше шутка зажила собственной жизнью. Игнасио всё больше напоминал друзьям футбольный мяч, и прозвище сменилось более привычным названием самой игры, в котором слышался уже не спорт, а мяч: «О Паллонэ». Жакоб,

родом из Лечче, говорил «Лу паллонэ», Маттия из Катании — «Лу паллуни». Прозвище закрепилось ещё и потому, что в своей чёрно-белой пятнистой одежде Игнасио напоминал им сразу и мяч, и бутсы, и даже грязные ворота. Это их особенно забавляло.

Но сейчас Игнасио просто стоял рядом с Жакобом и ждал, пока Нико подойдёт.

— Уэ! — радостно отозвался тот по-неаполитански. Лицо его сияло. Подойдя ближе, он добавил:

— Чао.

И пожал обоим руки.

День ничем не отличался от других. Друзья часто собирались вместе, и никто не ожидал, что именно этот вечер окажется особенным.

Они направились в кафе, где обычно перекусывали. В дальнем конце зала, у окна, куда падал мягкий свет, как всегда любили сидеть три девушки: Лючия, Аллегра и Матильда. Многие посетители были знакомы компании, а особенно хорошо здесь знали Жакоба: он проработал в кафе около полутора лет и успел стать почти своим.

Маттия, которого они ждали, присоединился к ним уже там.

Когда-то в этом кафе работал и О Паллонэ. Именно за стойкой он познакомился с Жакобом. Игнасио был тихим, сдержанным парнем и не любил, когда к нему заранее относились предвзято. По поведению он совсем не походил на

того, кого принято считать мигрантом. Отец и дед были католиками, мать тоже была католичкой; итальянские приходы в Африке, а затем итальянские школы в самой столице воспитали его так, что по мировоззрению, привычкам и складу он ощущал себя итальянцем. И всё же многие причисляли его к тем, кого сами не любили, — лишь потому, что внешне он был на них похож.

В те месяцы, когда Жакоб работал в кафе, ему и Полюбилась Лючия. Но тогда её сердце было занято, и Жакоб остался для неё просто хорошим другом, с которым легко и приятно разговаривать. Так они и общались — спокойно и тепло — вплоть до сегодняшнего дня.

У Нико всё началось в тот миг, когда он впервые увидел Лючию. Что-то внутри потянулось к ней — тихо, но сильно, как росток тянется к свету. Однако спустя несколько месяцев Жакоб обмолвился, что и сам испытывает к ней настоящее чувство. Их дружба тогда ещё не успела окрепнуть, но Нико не захотел ставить своё желание выше неё. Он молча отступил, отложил всё, что тянуло его к Лючии, и больше к этому не возвращался.

С Жакобом Нико познакомился вовсе не в кафе. После полугода работы на заводе он устроился экскурсоводом в местный музей. Шёл второй день. В одном из коридоров ему навстречу попался Жакоб — музейный разнорабочий, уставший, с тяжёлой коробкой в руках.

— Подержишь? — попросил он.

Нико, не успев удивиться, принял коробку. Жакоб принялся оглядываться, будто кого-то искал. Но вокруг никого не было, и поиски были лишь притворством. На самом деле он целиком ушёл в свои мысли: ему хотелось остановиться и обдумать то, что давно крутилось в голове. Отдать коробку незнакомому человеку и замереть молча было бы нелепо, и чтобы сгладить эту странность и завязать нормальный разговор, он делал вид, что остановиться здесь для него важно. Так у него появились и передышка, и право поговорить. Говоря прямо, он просто устал физически, ему хотелось остановиться, перевести дух и поразмыслить, и всё это он затеял ради того, чтобы не выглядеть нелепо перед незнакомцем.

В тот самый первый миг знакомства Жакоб на секунду прищурился. Движение было почти незаметным, мимолётная перемена в лице, но Нико почему-то задержал на нём взгляд. В глазах Жакоба мелькнула искра — не весёлая и не открытая, а сосредоточенная, потаённая. Нико вдруг совершенно ясно почувствовал: тот замышляет что-то хитрое, причём не отвлечённую проделку, а нечто направленное против кого-то из близких ему людей.

Нико не мог объяснить, откуда взялось это знание. Оно родилось не из слов и не из поступка — только из взгляда, прищура, едва уловимого движения лица. Он так и не узнал, о чём тогда думал Жакоб и кого касалась его задумка. Но ощущение осталось надолго: Нико казалось, что в ту секунду он ясно увидел искру души Жакоба, хотя и не сумел прочесть

её до конца.

Так они и разговорились. Через две-три недели Жакоб, до того работавший разнорабочим, ушёл в кафе. Они успели подружиться: на работе, во время перерывов, в подсобке часто смеялись и говорили обо всём, что их занимало. Нико быстро сблизился с ним, и вскоре их дружба стала крепче той, что тогда связывала его с Маттией.

Они удивительно легко ладили. Иногда им даже не нужно было заканчивать фразы друг за друга: они одновременно произносили одни и те же слова, подхватывали общие шутки, одинаково реагировали на происходящее. Казалось, каждый заранее знал, что скажет другой. Разговоры текли свободно, и со стороны можно было подумать, что они знакомы всю жизнь. Нико дорожил этой близостью искренне, без оглядки и расчёта.

Но со временем он стал замечать в Жакобе нечто похожее на зависть. Не к его успехам или положению — скорее, к самой его открытости. Казалось, Жакоба задевала простая искренность, с которой Нико относился к людям, его способность прямо говорить и прямо чувствовать. Сам Жакоб, по-видимому, так не умел. Он мог быть прекрасным другом, горячо заботиться о близких, но всегда оставлял внутри потайной ход — возможность не показывать всего, что думал. Нико это не отталкивало. Поначалу различие даже делало дружбу интереснее.

Однажды Нико и Жакоб договорились встретиться. После

смены в кафе Жакоб отправился на встречу не один: рядом с ним шёл Игнасио, с которым он как раз гулял по вечерней улице. К условленному месту они подошли вдвоём. Так к двоим прибавился третий, и обычная прогулка незаметно стала началом дружбы.

Жакоб был замечательным другом. Он всегда бросался на помощь товарищам, и они отвечали ему тем же. Вся компания дополняла и поддерживала друг друга. Они понимали друг друга без лишних слов и порой были больше похожи на единый организм, чем на обычную компанию.

И всё же Нико с самого начала видел в Жакобе хитрость. Он сразу понял: Жакоб — превосходный друг, но человек хитрый, и лучше не становиться у него на пути. Мораль не была для него главным мерилом; дружбу удерживала близость, но личное он всегда ставил выше общего. К счастью, думал тогда Нико, делить им нечего и впредь не придётся. Наверное, именно поэтому они и смогли сблизиться.

Душа Жакоба была надломлена. Его семья болела за «Лацио», отец — давно и всерьёз; среди римлян у него было много друзей. Из Лечче они переехали в Рим, когда Жакобу исполнилось десять, и с тех пор улица стала для него суровой школой. Его не раз ранили в уличных стычках. Однажды в толпе нож рассёк ему ногу, и Жакоб попал в больницу, где ему зашили рану.

Нико и Маттия подружились почти сразу после переезда Нико в Рим. Сначала Нико устроился грузчиком на большой

завод на окраине. В тот же день туда же вышел Маттия, приехавший в город одновременно с ним.

Завод встретил их грохотом станков, запахом машинного масла и горячего железа. В лучах света, пробивавшихся из высоких окон, висела пыль. Ящики, мешки и бочки шли бесконечной чередой, и таскать их приходилось с рассвета до вечера. К полудню руки наливались свинцом, рубашки прилипали к спинам, дыхание сбивалось на короткие жадные глотки, а в ушах стучала кровь. Нико запыхался уже в первый час, но упрямо молчал и продолжал работать.

Во время короткого перерыва они оказались за одним столом, друг напротив друга. Оба тяжело дышали, лица у обоих раскраснелись от натуги. Некоторое время они молчали, делая вид, что разглядывают свой хлеб. Потом Нико первым решился заговорить. Выяснилось, что у них много общего — и в характере, и в судьбе. Они сидели на ящиках в тени у стены, ждали, пока утихнет боль в гудящих плечах, делились хлебом и водой и смотрели, как над цехами лениво тянется дым. Два южанина стали поддерживать друг друга и очень скоро сблизились.

Позже Нико привёл Маттию в компанию. Сначала друзья не слишком хотели его принимать: он казался чересчур деятельным, шутливым, а порой и навязчивым. Но Нико уговорил их, объяснив, что в этом нет ничего плохого и не стоит судить человека заранее. Так Маттия стал одним из них — самым ярким и добрым, очень умным и рассудительным

юношей, чьих достоинств, казалось, не найти ни в ком другом. Он был энергичен, предан дружбе, не преследовал личных целей и готов был стоять за друзей хоть до смерти. Как уже говорилось, личных мотивов у него не было.

Поначалу друзья встречались после работы по четвергам — до тех пор, пока Жакоб, последним из них, не ушёл из кафе. Потом они стали собираться по пятницам и воскресеньям, а иногда и в другие дни, о которых договаривались на ходу. Так обычно и бывает между друзьями, которым не нужны ни расписание, ни особый повод: захотелось увидеться — значит, пора. Они встречались либо в том самом кафе, либо в парках.

Нико пришёл к вере собственным путём, через рассуждение. Ещё в детстве он думал: если в мире существуют ценности, должна быть и высшая ценность, из которой все остальные берут начало.

В юности он пытался стать атеистом и терпеливо убеждал себя, что Бога нет. Он даже затевал разговоры с Богом, в Которого, разумеется, не верил, и говорил Ему прямо, без обиняков: «Тебя нет. Я не стану с Тобой разговаривать, потому что Тебя не существует, и это известно всем умным людям». Но атеистом так и не стал.

Мысли, как известно, приходят к человеку извне. Спорят лишь о том, где находится это «извне»: скрыто ли оно в глубинах самого человека, существует ли за пределами его тела и ума или проникает в него из внешнего мира, чтобы потом

стать его собственной мыслью. Нико об этом не задумывался. Но его бессознательное — или, как назвали бы его неоплатоники и некоторые христиане, Нус — снова и снова подсказывало ему одну и ту же мысль: если каждый из нас — лишь часть чего-то, значит, над всем есть нечто, что объемлет сущее и не оставляет ничего за своими пределами. И если мы способны Любить кого-то одного, значит, есть и Тот, кто Любит всех.

Нико размышлял об этом, не понимая, откуда берётся такая мысль. Он просто чувствовал её и потому верил в неё. Борьба с верой не принесла результата: его не отпускало ощущение, что где-то должно быть начало, соединяющее всех, место, где всё едино, где нет несовершенства и пребывает полнота. Поэтому слова старика и упали на подготовленную почву — они так сильно подействовали на Нико.

Обычная церковь пугала его. Она представлялась тёмным, непонятным местом, полным мистики и тайны, где строгие, большей частью пожилые люди следят за каждым, кто сделает что-нибудь не так. Так он видел её в ту пору. Поэтому верил в одиночестве, в стороне от остальных, и считал это мудрым выбором, хотя мудрости в нём было немного. С большей охотой он зашёл бы в местную синагогу с большими окнами и свободно расставленными скамьями или в лютеранский приход, где можно было сесть отдельно от всех, укрывшись на скамье за кафедрой.

Нико время от времени приходил в это кафе и без друзей.

Тогда он подолгу разговаривал с Летицией. Он не то чтобы любил её, но она была ему симпатична: их сближали некоторые редкие увлечения, которые оба ценили. Между ними случались минуты, когда они могли бы стать ближе, но сердце Летиции принадлежало другому — ещё одному другу Нико, которого она и Любила.

Так они сидели и в тот день: за столиком — Нико и Летиция, а неподалёку, в ожидании подруг, одна — Лючия.

Вдруг дверь кафе распахнулась, и вошёл неопрятный товарищ того самого другого друга. Нико был с ним в хороших отношениях, хотя близко они не общались: слишком уж разнились их характеры. Едва тот переступил порог, прихрамывая, Нико понял, что знакомый сильно пьян. Увидев его, вошедший не прошёл мимо и, заплетающимся языком, попытался отпустить какую-то невнятную шутку насчёт волос Нико.

Нико посмотрел на него с недовольным удивлением. Он уже собирался резко и коротко ответить, но в тот миг, когда набрал воздух и слово вот-вот должно было сорваться с губ, его опередила Лючия:

— А мне нравится.

Нетрезвый знакомый, похоже, либо не услышал её, либо не успел понять сказанного. Сотрудники кафе вывели его на улицу, и он отправился своей дорогой. Нико и Лючия переглянулись и улыбнулись друг другу. Потом Нико заметил за её головой часы и понял, что уже поздно: пора провожать

Летицию.

Они вышли из кафе вместе. И прямо у порога Нико всей ступнёй наступил в жидкую глину, непонятно откуда взявшуюся. Лил сильный дождь, и определить, откуда она натекла, было невозможно.

Следующие десять минут Летиция говорила без умолку, а Нико почти не слушал. Он вспоминал тот день, старика и его слова. «Здесь моего счастья явно нет, — думал он. — Любовь не должна сводиться к симпатии или одной лишь дружбе. Она глубже, это дар, которым человек должен обладать, а здесь — одни руины. Как же мне слепить своё счастье из всего подряд, что меня окружает, а не из того, что мне даётся? И что же мне даётся? Может быть, этот незаметный жест, это присутствие Лючии и были знаком? Но для знака это маловато: он должен быть ярким — слишком заметным».

Знак

Думая о божественном знаке, Нико, человек глубоко верующий, несколько раз про себя попросил Бога дать ему то счастье, которое ему нужно, и послать того, кто ему нужен. Едва он закончил, как вспомнил, что забыл в кафе свой старенький карманный Новый Завет. Он оставил его на третьем стуле за столиком, где сидел с Летицией, и положил туда, когда она пришла, чтобы книга не мешала.

Проводив Летицию, Нико поспешил обратно к кафе: оно уже готовилось закрываться. В опустевшем зале двое сотрудников домывали полы и собирались уходить. Нового Завета нигде не было. Задумавшись и глядя под ноги, Нико направился к двери. Он уже потянулся к ручке, когда почувствовал, что дверь открывают с другой стороны.

На пороге стояла Лючия. Она достала из сумки ту самую книгу и протянула её Нико.

— Почему ты вернулась? — спросил он.

Она не ответила и смотрела словно сквозь него. После неловкой паузы Нико поблагодарил её за то, что она принесла книгу, немного отступил и повторил вопрос.

Лючия объяснила, что не знала, кому принадлежит Новый Завет. Она забрала его, чтобы в конце дня кто-нибудь из посетителей не прихватил книгу, а позже можно было найти владельца, не отвлекая и без того уставших стажёров. Но,

уже выйдя с подругами и оказавшись на другом конце переулка, она почему-то оглянулась. Там она заметила Нико, который быстро шёл обратно к кафе, и догадалась, что он, должно быть, что-то забыл. Тогда она решила вернуться и отдать ему книгу.

Нико поблагодарил её ещё раз. Лючия сказала, что подруги ждут её на другом конце улицы, под дождём, и ей пора торопиться. Нико убрал книгу во внутренний карман пальто, попрощался и пошёл в другую сторону.

Он принял этот случай за тот самый знак, о котором говорил старик, — знак, которому ему теперь предстояло следовать.

Была и другая прогулка, ещё до того, как две компании окончательно слились в одну. Нико и Лючия собирались провести время вдвоём, но за ними увязалась Аллегра, лучшая подруга Лючии. Она заранее знала, куда та собирается, и в итоге сопровождала их почти всю прогулку, хотя никто её не приглашал и никто не понимал, зачем она пришла.

Аллегра постоянно вмешивалась в разговор: перебивала то Нико, то Лючию, не давала им закончить мысль и переводила беседу на другую тему. Она предлагала пойти в места, которые не интересовали ни одного из них, и всякий раз старалась сама направлять прогулку, не оставляя им возможности побыть рядом. Порой вспыхивала из-за пустяков, отвечала резко и настойчиво. Никто не радовался её присутствию, но она не отходила. Казалось, прогулка имела для неё

смысл лишь до тех пор, пока Нико и Лючия не могли остаться наедине.

Нико не понимал, чем именно вызвал такую неприязнь Аллегры. Он видел, что дело не в простой антипатии или случайной вспыльчивости: её поведение выглядело намеренным. Но объяснять его за неё он не хотел. Он лишь замечал, как раз за разом между ним и Лючией возникал кто-то третий, мешавший им поговорить и стать ближе.

Так было и в день рождения Нико. Аллегра появилась позже остальных, когда Нико и Лючия уже сидели рядом. Не поздоровавшись с ними как следует и даже не спросив, свободно ли место, она нарочно уселась между ними. Это выглядело почти демонстративно: ей было важно не столько оказаться рядом с Лючией, сколько не дать им сидеть рядом друг с другом. Весь вечер она искала повод вмешаться, вклиниться в разговор или привлечь к себе внимание именно в ту минуту, когда Нико и Лючия начинали говорить. Её неприязнь к Нико была очевидна, хотя причина оставалась загадкой. Он старался не придавать этому значения и не хотел портить праздник, но не мог не замечать: Аллегра словно жила одной потребностью — вставать между ними.

Через несколько дней Жакоб сблизился с Матильдой. Оба, похоже, собирались строить отношения, и вскоре действительно стали парой. Так две компании друзей тесно переплелись и превратились в один большой, живой круг, во главе которого оказался Жакоб.

Постепенно их уже почти невозможно было разделить. Друзья всё чаще встречались вместе, границы между прежними компаниями стирались, и со стороны казалось, что они всегда были одним целым.

Но Нико не всякий раз хотелось находиться в центре этой компании. Иногда он предпочитал отойти в сторону, побыть один, никому ничего не объясняя и не ожидая, что его станут искать. И всё же Лючия замечала его отсутствие. Она спрашивала, где он, находила его, а потом приводила к нему остальных, словно само собой разумелось, что он должен быть рядом.

В такие минуты Нико особенно ясно чувствовал, что не одинок. В их кругу Жакоб и О Паллонэ могли спорить с ним, возражать и даже идти наперекор. Но Лючия и Маттия неизменно оказывались на его стороне. Не из желания угодить и не потому, что не умели спорить: они просто видели происходящее так же, как он, и в тех случаях, о которых шла речь, Нико действительно был прав. Их прямота не позволяла притворяться, будто они думают иначе. Лючия и Маттия были светлыми людьми. Рядом с ними Нико знал, что его услышат и не оставят одного. Они не просто поддерживали его в трудную минуту — они не давали ему почувствовать себя одиноким среди друзей.

Нико радовало, что центром притяжения в девичьем кругу была Лючия, вокруг которой собирались все её подруги. Но сомнения не отпускали. Стоило ли следовать собствен-

ному желанию, если прежде у него никогда не было отношений? Однажды, гуляя вдвоём с Маттией, он спросил, с кем ему продолжать общение — с Летицией или с Лючией. Маттия без колебаний выбрал Лючию и не увидел ничего дурного в том, чтобы сразу прекратить общение с Летицией. Нико был сердобольным юношей, и расставаться с людьми ему всегда давалось тяжело: почти всех он Любил безоговорочно, хотя и не страстно, а духовно. Но совет своего замечательного и умного друга он принял. Собравшись с духом, Нико решил идти навстречу своему знаку.

Однажды они собрались у Жакоба, а потом вышли на балкон и танцевали, оставив остальных в комнате. В другой день, когда вся компания приехала на озеро, Нико и Лючия сели поодаль. Они смотрели друг на друга и тихо разговаривали, отделившись от остальных. Нико не мог думать ни о чём, кроме неё.

Тем временем Жакоб, всё ещё оставаясь близок с Матильдой, уже подумывал отдалиться от неё и обратить внимание на Лючию.

Когда на озере Лючия сильно поперхнулась пресной водой, он поспешил ей на помощь, словно только и ждал возможности проявить заботу. А в те дни, когда Матильда пропадала, Жакоб всё чаще держался возле Лючии и оказывал ей явное внимание.

Однажды, когда они шли по дороге, Нико случайно поймал взгляд Жакоба. Тот смотрел на Лючию, пока она не ви-

дела: хитро, оценивающе, с откровенным мужским интересом. Нико, как мужчина, не мог не узнать этот взгляд. Внутри у него всё холодно сжалось. Он отвернулся и стал смотреть на дорогу, будто ничего не заметил.

«Тебе показалось, — сказал он себе. — Жакоб не такой. Ты устал, просто ревнуешь, вот и всё».

Он принялся отгонять эту мысль, как назойливую муху.

Нико вспомнил, как Жакоб всегда приходил на помощь, оставался на связи и появлялся в нужную минуту — без просьб и напоминаний. Вспомнил, что тот готов был сорваться с места ради любого из друзей и ни разу никого не подвёл. Всё это было правдой, и Нико держался за неё, словно за поручень в трясущемся вагоне.

Но другая реальность, которую он видел собственными глазами, не отпускала. Стоило Жакобу снова склониться к Лючии — заботливо, чуть ближе, чем следовало, — как перед Нико вставал тот давешний взгляд, и подозрение возвращалось. Ведь с самого начала дружбы он замечал в Жакобе хитрость и расчётливость. Он знал: тот искренне добр к друзьям, но собственные интересы всегда ставит выше близости. Это знание не позволяло Нико до конца поверить ни собственным успокоениям, ни чужой доброте. И всё же из упрямой преданности дружбе он снова отводил эту мысль, словно отстранял ладонью чужую руку от огня, и делал вид, что ничего не видел. Но однажды увиденное не исчезает: оно лишь опускается на дно и ждёт.

Нико очень дорожил Жакобом. Не возможной поддержкой — она ему не требовалась: сам он был готов безвозмездно помогать друзьям. Он ценил саму дружбу и её прочность, которую Жакоб подтверждал и словами, и поступками. Тот обещал помочь во всём, что бы ни понадобилось, — от жилья до денег, — и готов был вступиться за друга в любой беде. Ценя и Любя такого человека, Нико решил поговорить с ним о том, что заметил.

Жакоб ответил:

— Ни в коем случае. Мы с Матильдой близки, мы настоящая пара, и я бы так не поступил. Более того, я даже не знал, что Лючия тебе нравится. Я не сделал бы этого ни с Матильдой, ни тем более с лучшим другом, который у меня есть. И я сделаю всё, чтобы у тебя не осталось повода думать иначе.

Но, несмотря на этот разговор, отношения Нико и Лючии ещё какое-то время складывались хорошо — до тех пор, пока в жизни Нико не случились страшная утрата и полный переворот. Всё началось со смерти бабушки.

Несколько лет они жили в Риме благодаря устным договорённостям и знакомствам — большей частью случайным и не слишком близким. Бумаги, конечно, оформляли, но работу всё равно находили с трудом. После смерти бабушки семья вернулась в Неаполь на похороны и оставшиеся после них тридцать семь дней. И тогда Нико оказался в ловушке: денег, чтобы постоянно жить в Риме, у него не было. Переехать к друзьям он тоже не мог. Жакоб, Маттия и

О Паллонэ, хотя уже достигли совершеннолетия, оставались совсем молодыми, жили небогато и по-прежнему — с родителями. Собственные родители Нико устали от римского темпа жизни и отказывались помогать ему остаться.

Казалось, из всех друзей только Жакоб мог прийти ему на помощь. Он жил в богатом доме и ещё до отъезда Нико не раз повторял, что тот может поселиться у него на сколько угодно, если возникнет нужда. У Маттии тогда не было местных связей, у О Паллонэ — друзей за пределами этой троицы, зато у Жакоба имелись связи повсюду. Он без труда мог бы найти Нико работу или пристроить его где-нибудь. Однако даже не попытался. И в душе Нико тихо, но неотступно поселилось подозрение, постепенно доходившее почти до паранойи.

Не давала покоя и Лючия, которая всё ещё была свободна. Жакоб уверял друга, что никогда не поступил бы с ним подобным образом. И всё же, вопреки собственным словам, незадолго до этого он расстался с Матильдой. Та понемногу отдалялась от компании и появлялась всё реже. Теперь Жакоб всё больше тянулся к Лючии, тем более что жили они на соседних улицах. Пока Нико оставался рядом, в этом не было явной опасности. Но отношения Нико и Лючии оказались на паузе, и Жакоб, как подозревал Нико, мог начать действовать, больше ничем себя не сдерживая.

В последний раз друзья собрались на озере, уже на другом. Нико ещё не знал, что эта встреча станет последней пе-

ред его отъездом, но понимал, что уедет надолго. Все сидели вместе; вокруг было много посторонних, хотя и знакомых людей. Среди них находилась и Летиция. Нико не хотел с ней разговаривать и почти не разговаривал: всё между ними давно сошло на нет, и теперь он едва замечал её.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.